



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

**ХЛЕБ
(ОБОРОНА ЦАРИЦЫНА)**

Алексей Толстой

Хлеб (Оборона Царицына)

«Public Domain»

1937

Толстой А. Н.

Хлеб (Оборона Царицына) / А. Н. Толстой — «Public Domain»,
1937

По замыслу автора повесть «Хлеб» является связующим звеном между романами «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро». Повесть посвящена важнейшему этапу в истории гражданской войны — обороне Царицына под руководством товарища Сталина. Этот момент не показан в романе «Восемнадцатый год».

© Толстой А. Н., 1937

© Public Domain, 1937

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| А. Н. Толстой | 5 |
| Глава первая | 6 |
| Глава вторая | 14 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 20 |

А. Н. Толстой
ХЛЕБ
(Оборона Царицына)

повесть

Глава первая

1

Две недели бушевала метель, завывая в печных трубах, грохоча крышами, заноса город, устилая на сотни верст вокруг снежную пустыню. Телеграфные провода были порваны. Поезда не подходили. Трамваи стояли в парках.

Метель затихла. Над Петроградом светил высоко взобравшийся месяц из январской мглы. Час был не слишком поздний, но город, казалось, спал. Кое-где, на перекрестках прямых и широких улиц, белыми клубами дымили костры. У огня неподвижно сидели вооруженные люди, перепоясанные пулеметными лентами, в ушастых шапках. Красноватый отсвет ложился по сугробам, на треснувшие от пуль зеркальные витрины, на золотые буквы покосившихся вывесок.

Но город не спал. Петроград жил в эти январские ночи напряженно, взволнованно, злобно, бешено.

По Невскому проспекту, по извилистым тропинкам, протоптанным в пушистом снегу, сворачивающим в поперечные улицы, проходил какой-нибудь бородатый господин, поставив заиндевелый воротник. Оглянувшись направо, налево, – стучал перстнем в парадную дверь, и тотчас испуганные голоса спрашивали: «Кто? Кто?» Дверь приоткрывалась, пропускала его и снова захлопывалась, гремя крючьями...

Человек входил в жарко натопленную железной печуркой, загроможденную вещами, комнату. Увядшая дама, хозяйка с истерическими губами, поднявшись навстречу, восклицала: «Наконец-то! Рассказывайте...» Несколько мужчин, в черных визитках и некоторые в валенках, окружали вошедшего. Протерев запотевшее пенсне, он рассказывал:

– Генерал Гофман в Брест-Литовске высек, как мальчишек, наших «дорогих товарищей»... Вместо того, чтобы полезть под стол со страха, генерал Гофман с великолепным спокойствием, продолжая сидеть, – сидя, заметьте, – заявил: «Я с удовольствием выслушал утопическую фантастику господина уполномоченного, но должен поставить ему на вид, что в данный момент мы находимся на русской территории, а не вы на нашей... И мы диктуем вам условия мира, а не вы нам диктуете условия...» Хе-хе...

Седоусый розовый старик, в визитке и валенках, перебил рассказчика:

– Послушайте, но это же тон ультиматума...

– Совершенно верно, господа... Немцы заговорили с нашими «товарищами» во весь голос... Я патриот, господа, я русский, черт возьми. Но, право, я готов аплодировать генералу Гофману...

– Дожили, – проговорил иронический голос из-за фикуса.

И другой – из-за книжного шкафа:

– Ну, что ж, немцы в Петрограде будут через неделю. Милости просим...

Истерическая хозяйка дома – с плачущим смешком:

– В конце концов не приходится же нам выбирать: в конце концов – ни керосину, ни сахару, ни полена дров...

– Вторая новость... Я только что из редакции «Эхо». Генерал Каледин идет на Москву! (Восклицания.) К нему массами прибывают добровольцы-рабочие, не говоря уже о крестьянах, – эти приезжают за сотни верст. Армия Каледина выросла уже до ста тысяч.

Из десятка грудей выдыхается смятый воздух: хочется верить в чудо – в просветленные духом крестьянские армии, идущие на выручку разогнанному Учредительному собранию, на

выручку таким хорошим, таким широким, красноречивым российским либералам... И еще хочется верить, что немцы придут, сделают свое дело и уйдут, как добрый дед-мороз.

Другой пешеход, поколесив глубокими тропинками мимо вымерших особняков, посту-чался на черном ходу в одну из дверей. Вошел в комнату с лепным потолком. Внутри заку-танной люстры светила лампочка сквозь пыльную марлю. На паркете потрескивала железная печка с коленом в форточку. С боков печки на койках лежали в рваных шерстяных носках и жеваных гимнастерках штабс-капитан двадцати лет и подполковник двадцати двух лет. Оба читали «Рокамболя». Семнадцать томов этих замечательных приключений валялись на полу.

Вошедший проговорил значительно: «Георгий и Москва». Штабс-капитан и подполков-ник взглянули на него из-за раскрытых книг, но не выразили удивления и ничего не ответили.

– Господа офицеры, – сказал вошедший, – будем откровенны. Больно видеть славное русское офицерство в таком моральном разложении. Неужели вы не понимаете, что творят большевики с несчастной Россией? Открыто разваливают армию, открыто продают Россию, открыто заявляют, что самое имя – русский – сотрут с лица земли. Господа офицеры, в этот грозный час испытания каждый русский должен встать с оружием в руках.

Штабс-капитан проговорил мрачно и лениво:

– Мы три года дрались, как черти. Мы с братом загнали шпалеры и не пошевелимся. Точка.

У вошедшего господина раздулись ноздри; подняв палец, он сказал зловеще:

– На свободу выпущен зверь. Русский мужичок погуляет на ваших трупах, господа...

И господин начал расписывать такие апокалипсические страсти, что у штабс-капитана и подполковника нехорошо засветились глаза. Оба сбросили ноги с коек, сильным движением одернули гимнастерки.

– Хорошо, – сказал подполковник. – Куда вы нас зовете?

– На Дон, к русскому патриоту – генералу Каледину.

– Хорошо. Мы его знаем. Он угробил дивизию на Карпатах. Но, собственно, кто нас посылает?

– «Союз защиты родины и свободы». Господа, мы понимаем, что идеи идеями, а деньги деньгами... – Господин вынул щегольский бумажник и бросил на грязную койку несколько думских тысячерублевок.

– Мишка, – сказал подполковник, поддергивая офицерские брюки, – едем, елки точеные. Пропишем нашим мужепесам горячие шомпола...

В эти снежные ночи в Петрограде было не до сна. Вечерние контрреволюционные газетки разносили возбуждающие слухи о немецком ультиматуме, о голоде, о кровавых боях на Укра-ине между красными и гайдамацкими полками Центральной рады, о победоносном шествии генерала Каледина на Москву, и с особенным вкусом и подробностями описывали грабежи и «кошмарные убийства». Неуловимый бандит Котов, или «человек без шеи», резал людей каж-дую ночь на Садовой у игорного притона – ударом мясного ножа в почки. В одной закусоч-ной, знаменитой поджаренными свиными ушами, в подполье обнаружили семь ободранных человеческих туш. Весь город говорил о случае в трамвае, когда у неизвестного в солдатской шинели была вытащена из-за пазухи отрезанная женская рука с бриллиантовыми перстнями. Тоска охватывала имущих обывателей Петрограда. На лестницах устраивали тревожную сиг-нализацию, в подъездах – всенощное дежурство. Боже мой, боже мой! Да уж не сон ли снится в долгие зимние ночи? Столица, мозг взбунтовавшегося государства, строгий, одетый в колон-нады и триумфальные арки, озаряемый мрачными закатами, великодержавный город – в руках черни, – вон тех, кто, нахохлившись, стоит с винтовками у костров. Будто неведомые заво-еватели расположились табором в столице. Не к ним же, высунувшись ночью из форточки, кричать: караул, грабят! У этих фабричных, обмотанных пулеметными лентами, у солдатишек из самой что ни на есть деревенской голи – на все – на все беды – один ответ: «Углубляй

революцию...» Немало было таких, кто со злорадством ждал: пришли бы немцы. Суровые, в зелено-серых шинелях, в стальных шлемах. Ну – высекут кого-нибудь публично на площади, – российскому обывателю даже полезно, если его немного постегать за свинство. И встали бы на перекрестках доброжелательные шуцманы: «Держись права!» Военный губернатор, с золотыми жгутами на плечах, пролетел бы в автомобиле по расчищенному Невскому, и засветились бы окна в булочных, в колбасных и в пивных. И пошел бы правой сторонкой панели счастливый, как из бани, питерский обыватель. Немцу и в ум не придет такое невежество – заявлять: «Кто не работает, тот не ест».

Тем, кто служил в бывших министерствах и департаментах, в банках и на предприятиях, а по-новому в комиссариатах, – окончательно, ввиду скорого пришествия немцев, не было расчета связываться с большевиками. Пусть они сами поворачивают государственную машину. Это не на митинге бить кулачищем в матросскую грудь: «Новый мир, видите ли, собственной рукой построим...», «Стройте, стройте, дорогие товарищи!» И, как крысы уходят с корабля, так с каждым днем все больше крупных и мелких чиновников по болезни и просто безо всяких оснований не являлось на службу. Саботаж снова с каждым днем ширился, как зараза, – все глубже насыщался политической борьбой.

Плотно занавесив окна, выставив на парадном желторотого гимназиста с браунингом, чиновники собирались около потрескивающей угольками железной печурки и, возрождая старозаветный питерский уют – чиновный винт, – перекидывались ироническими мыслями:

«Да-с, господа... Не так-то был глуп Николай, оказывается... Э-хе-хе... Мало секли, мало вешали... Что и говорить, все хороши... Свободы захотелось, на капустку потянуло... Вот вам и капуста получилась... А в Смольном у них, ваше превосходительство, каждую ночь – оргии, да такие, что прямо – волосы дыбом...»

Клубы дыма от двух жарких костров застилали колонны Таврического дворца.

Топая валенками, похлопывая варежками, похаживала у входа вооруженная стража. Тускло горел свет. В вестибюлях – ледяная мгла.

В большом зале заседал Третий всероссийский съезд советов. На скамьях, раскинутых амфитеатром, было тесно, шумно – солдатские шинели фронтовиков, полушубки, ушастые шапки и ватные куртки рабочих. Под стеклянным потолком огромного зала – пар, полусвет... Гул голосов замолкал настороженно. Кулаками подпирались бороды, небритые щеки. Блестели ввалившиеся глаза. Слова оратора вызвали движение страстей на худых и землистых лицах. Навстречу иной фразе обрушивалось хлопанье тяжелых ладоней или поднимался угрюмый ропот, прорезаемый резким свистом, и долго приходилось звякать колокольчику председателя...

Прения заканчивались. На трибуну, расположенную перед высоким столом президиума, торопливо пошел с боковой скамьи по-господски одетый человек с толстыми щеками. Снял шапку, расстегнул каракулевый воротник и – густым голосом через хрипотцу:

– ...Никогда никакое насилие, никакие декреты Совета народных комиссаров не отнимут у нас права говорить от лица всего русского государства. Учредительное собрание разогнано, но Учредительное собрание живо, и голос его вы еще услышите...

Говорил член партии эсеров. За его спиной председательствующий Володарский беззвучно тряс колокольчиком. Рев перекачивался по скамьям амфитеатра: «Пошел вон! Долой! Вон!»

Оратор, опираясь на кулаки, глядел туда с перекошенной усмешкой. Когда немного стихло, он снова загудел, выпячивая толстые губы:

– ...После октябрьского переворота, когда вы, товарищи, стали у власти, естественно было бы ждать, что вы не откроете фронта перед немецким нашествием... Но вся политика народных комиссаров преступно попустительствует тому, чтобы обнажить фронт...

Взрыв криков. Кто-то в солдатской шинели покатился сверху на каблуках по лучевому проходу к трибуне. Его перехватили, успокоили...

– ...Если вы хотите мира, – гудел толстощекий, – то прежде всего не должны допустить, чтобы Совет народных комиссаров от вашего имени предательски заключил сепаратный мир...

Амфитеатр взревел, закачались головы, замахали рукава. Человек десять в шинелях кинулось вниз. Оратор торопливо надел шапку, нагибаясь, пошел на свое место.

Председательствующий, дозвонившись до тишины, дал слово Мартову. Член центрального комитета меньшевиков Мартов, в пальто с оборванными пуговицами, выставив из шарфа кадык худой шеи и запрокинув чахоточное лицо с жидкой бородкой, чтобы глядеть на слушателей через грязные стекла пенсне, съехавшего на кончик носа, – тихо, но отчетливо, насмешливо заговорил о том, что глубоко удовлетворен только что сделанным сегодня заявлением представителя мирной делегации в Брест-Литовске о намерении не делать более уступок германскому империализму...

Амфитеатр напряженно затих. Напряженное внимание в президиуме. Мартов двумя пальцами поправил пенсне. Чахоточные щеки его втянулись.

– Я заявляю, товарищи, что политика советской власти поставила русскую революцию в безвыходное и безнадежное положение... Вывод делайте сами...

В президиуме громко выругались. На скамьях меньшевиков и эсеров захлопали. В центре и на левом крыле большевики затопали ногами, закричали: «Предатель!» Поднялся шум, перебранка. Какой-то низенький уса́тый человек в финской шапке повторял рыдающим голосом: «Ты скажи – что делать? Что делать нам, скажи?»

За Нарвскими воротами по левую сторону от шоссе, в рабочем поселке, разбросанном по болотистым пустырям, в одном из домишек, покосившемся от ветхости, кузнец Путиловского завода Иван Гора – большого роста, большеносый двадцатидвухлетний парень – чистил винтовку, положив части затвора на стол, где в блюдечке в масле плавал огонек.

Два мальчика – одиннадцати и шести лет – Алешка и Мишка – внимательно глядели, что он делает с ружьем. Иван Гора занимал здесь угол у вдовы Карасевой. Мамка ушла с утра, есть ничего не оставила. Иван Гора согрел чайник на лучинках, напоил маленьких кипятком, чтобы перестали плакать.

– Ну, теперь чисто, – сказал он грубым голосом. – Глядите, затвор буду вкладывать. Вложил! Го-тово! Стреляй по врагам рабочего класса...

Засмеявшись, он поглядел на Алешку и Мишку. У старшего худые щеки сморщились улыбкой. Иван Гора перекинул ремень винтовки через плечо. Застегнул крючки бекеши, надвинул на брови солдатскую искусственную каракуля папаху.

– Ну, я пошел, ребята... Смотрите, без меня не балуйтесь...

Пригородная равнина синела снегами. Вокруг месяца – бледные круги. Иван Гора, утопая валенками, добрался до шоссе, на санные следы, и повернул направо, на завод, за пропуском. У заводских ворот заиндевелый дед, взглядевшись, сказал ему:

– На митинг? Иди в кузнечный...

На истоптанном дворе было безлюдно. Под сугробами погребены огромные котлы с военных судов. Вдали висела решетчатая громада мостового крана. Тускло желтели закопченные окна кузнечной.

Иван Гора с усилием отворил калитку в цех. Десятки взволнованных лиц обернулись к нему: «Тише, ты!» В узкой длинной кузнице пахло углем, тлеющим в горнах. Сотни полторы рабочих слушали светловолосого, маленького, с веселым розовым лицом человека, горячо размахивающего руками. Он был в черной, перепоясанной ремнем, суконной рубаше. Ворот расстегнут на тонкой интеллигентской шее, зрачки светлых круглых глаз воровски метались по лицам слушателей:

– ...Вся наша задача – сберечь для мира чистоту революции. Октябрьскую революцию нельзя рассматривать как «вещь в себе», как вещь, которая самостоятельно может расти и развиваться... Если наша революция станет на путь такого развития, мы неминуемо начнем перерождаться, мы не сбережем нашу чистоту, мы скатимся головой вниз, в мелкобуржуазное болото, к мещанским интересам российской деревни, в объятия к мужичку...

Быстрой гримасой он хотел изобразить векового русского мужичка и даже схватился за невидимую бороденку. Рабочие не засмеялись, – ни один не одобрил насмешки. Это говорил один из вождей «левых коммунистов», штурмующих в эти дни ленинскую позицию мира...

– Первым шагом нашей революции – вниз, в болото – будет Брестский похабный мир... Мы распишемся в нашей капитуляции, за чечевичную похлебку продадим мировую революцию... Мы не можем идти на Брестский мир – что бы нам ни угрожало.

Глаза его расширились до отказа, будто он хотел заглотить ими всю кузницу со слушателями...

– Мы утверждаем: пусть нас даже задушит германский империализм... Пусть он растопчет нашу «Расею»... Это будет даже очень хорошо. Почему? А потому, что такая гибель – наша гибель – зажжет мировой пожар... Поэтому не Брестским миром мы должны ответить на германские притязания, но – войной! Немедленной революционной войной. Вилы против германских пушек?... Да – вилы...

У Ивана Горы волосы ошетинились на затылке. Но хотел бы он еще послушать оратора, – времени оставалось меньше часу до смены дежурства. Он протолкался к двери, кашлянул от морозного воздуха. Зашел в контору, взял наряд в Смольный, взял паек – ломоть ржаного хлеба, сладко пахнущего жизнью, осторожно засунул его в карман бекеша и зашагал по шоссе в сторону черной колоннады Нарвских ворот...

Со стороны пустыря показались тени бездомных собак – неслышно продвинулись к шоссе. Сели у самой дороги, – десятка два разных мастей, – глядели на шагающего человека с ружьем.

Когда Иван Гора прошел, собаки, опустив головы, двинулись за ним...

«Ишь ты: мы вилами, а немцы нас – пушками, и это «даже очень хорошо», – бормотал себе под нос Иван Гора, глядя в морозную мглу... – Значит – по его – выходит: немедленная война вилами... Чтобы нас раздавили и кончили... И это очень хорошо... Понимаешь, Иван? Расстреливай меня, – получается провокация...» Ивану стало даже жарко... Он уже не шел, а летел, визжа валенками... В пятнадцатом году его брат, убитый вскорости, рассказывал, как их дивизионный генерал атаковал неприятеля: надо было перейти глубокий овраг – он и послал четыре эскадрона – завалить овраг своими телами, чтобы другие перешли по живому мосту...

«По его – значит – советская Россия только на то и способна: навалить для других живой мост?..»

Он сразу остановился. Опустив голову, – думал. Собаки совсем близко подошли к нему... Поддернул плечом ремень винтовки, опять зашагал...

«Неправильно!..»

Сказал это таким крепким от мороза голосом, – собаки позади него ошетинились...

«Неправильно! Мы сами желаем своими руками потрогать социализм, вот что... Надо для этого семь шкур содрать с себя и сдерем семь шкур... Но социализм хотим видеть вживе... А ты, – вилы бери! И потом – почему это: мужик – болото, мужик – враг!..»

Он опять остановился посреди Екатерингофского проспекта, где в высоких домах, в ином морозном окне сквозь щели занавесей желтел свет. Иван Гора тоже был мужик – восьмой сын у батки. Кроме самого старшего, – этот и сейчас хозяйничает на трех десятинах в станице Нижнечирской, – все сыновья батрачествовали. Трех убили в войну. Трое пропали без вести.

«Ну нет: всех мужиков – в один котел, все сословие... Это, брат, чепуха... Деревни не знаешь: там буржуй – может, еще почище городского, да на него – десяток пролетариев... А что темнота – это верно...»

Был третий час ночи. Иван Гора стоял на карауле у дверей в Смольном. В длинный коридор за день натащили снега. Чуть светила лампочка под потолком. Пусто. Пальцы пристывали к винтовке. На карауле у дверей товарища Ленина – вволю можно было подумать на досуге. Замахнулись на большое дело: такую страничку поднять из невежества, всю власть, всю землю, все заводы, все богатства предоставить трудящимся. Днем, в горячке, на людях легко было верить в это. В ночной час в холодном коридоре начинало как будто брать сомнение... Длинный путь, хватит ли сил, хватит ли жизни.

Головой Иван Гора верил, а тело, дрожавшее в худой бекеше, клонилось в противоречие. Из кармана тянуло печеным запахом хлеба, в животе посасывало, но есть на посту Иван Гора стеснялся.

Издалека по каменной лестнице кто-то, слышно, спускался с третьего этажа. В коридоре смутно показался человек в шубе, наброшенной на плечи, – торопливо шел, опустив голову в каракулеву шапку, засунув озябшие руки в карманы брюк. Иван Гора, когда он приблизился, облегченно раздвинул большой рот улыбкой. При взгляде на этого человека пропадали сомнения. Повернув ключ в двери, он сказал:

– Зазябли, Владимир Ильич, погреться пришли? Исподлобья чуть раскосыми глазами Ленин взглянул холодно, потом теплее, – на виски набежали морщинки.

– Вот какая штука, – он взялся за ручку двери. – Нельзя ли сейчас найти монтера, поправить телефон?

– Монтера сейчас не найти, Владимир Ильич, позвольте, я взгляну.

– Да, да, взгляните, пожалуйста.

Иван Гора брякнул прикладом винтовки, вслед за Лениным вошел в теплую, очень высокую белую комнату, освещенную голой лампочкой на блоке под потолком. Раньше, когда Смольный был институтом для благородных девиц, здесь помещалась классная дама, и, как было при ней, так все и осталось: в одном углу – плохонький ольховый буфет, в другом – зеркальный шкафчик базарной работы, вытертые креслица у вытертого диванчика, в глубине – невысокая белая перегородка, за ней – две железные койки, где спали Владимир Ильич и Надежда Константиновна. На дамском облупленном столике – телефон. Владимир Ильич работал в третьем этаже, сюда приходил только ночевать и греться. Но за последнее время часто оставался и на ночь – наверху, у стола в кресле.

Иван Гора прислонил винтовку и стал дуть на пальцы. Владимир Ильич – на диване за круглым столиком – перебирал исписанные листки. Не поднимая головы, спросил негромко:

– Ну, как телефон?

– Сейчас исправим. Ничего невозможного.

Владимир Ильич, помолчав, повторил: «Ничего невозможного», усмехнулся, встал и приоткрыл дверцу буфета. На полках две грязные тарелки, две кружки – и ни одной сухой корочки. У них с Надеждой Константиновной только в феврале завелась одна старушка – смотреть за хозяйством. До этого случалось – весь день не евши: то некогда, то нечего.

Ленин закрыл дверцу буфета, пожав плечом, вернулся на диван к листкам. Иван Гора качнул головой: «Ай, ай, – как же так: вождь – голодный, не годится». Осторожно вытащил ломоть ржаного, отломил половину, другую половину засунул обратно в карман, осторожно подошел к столу и хлеб положил на край и опять занялся ковыряньем в телефонном аппарате.

– Спасибо, – рассеянным голосом сказал Владимир Ильич. Продолжая читать, – отламывал от куска.

Дверь, – ведущая в приемную, где раньше помещалась умывальная для девиц и до сих пор стояли умывальники, – приоткрылась, вошел человек, с темными стоячими волосами, и молча сел около Ленина. Руки он стиснул на коленях – тоже, должно быть, прозяб под широкой черной блузой. Нижние веки его блестящих глаз были приподняты, как у того, кто вглядывается в даль. Тень от усов падала на рот.

– Точка зрения Троцкого: войну не продолжать и мира не заключать – ни мира, ни войны, – негромко, глуховато проговорил Владимир Ильич, – ни мира, ни войны! Этакая интернациональная политическая демонстрация! А немцы в это время вгрызутся нам в горло. Потому что мы для защиты еще не вооружены... Демонстрация – не плохая вещь, но надо знать, чем ты жертвуешь ради демонстрации... – Он карандашом постучал по исписанным листочкам. – Жертвуешь революцией. А на свете сейчас ничего нет важнее нашей революции...

Лоб его собрался морщинами, скулы покраснели от сдержанного возбуждения. Он повторил:

– События крупнее и важнее не было в истории человечества...

Сталин глядел ему в глаза, – казалось, оба они читали мысли друг друга. Распустив морщины, Ленин перелистал исписанные листочки:

– Вторая точка зрения: не мир, но революционная война!.. Гм!.. гм!.. Это – наши «левые»... – Он лукаво взглянул на Сталина. – «Левые» отчаянно размахивают картонным мечом, как взбесившиеся буржуа... Революционная война! И не через месяц, а через неделю крестьянская армия, невыносимо истомленная войной, после первых же поражений свергнет социалистическое рабочее правительство, и мир с немцами будем заключать уже не мы, а другое правительство, что-нибудь вроде рады с эсерами-черновцами.¹

Сталин коротко, твердо кивнул, не спуская с Владимира Ильича блестящих глаз.

– Война с немцами! Это как раз и входит в расчеты империалистов. Американцы предлагают по сто рублей за каждого нашего солдата... Нет же, честное слово – не анекдот... Телеграмма Крыленко из ставки (Владимир Ильич, подняв брови, потащил из кармана обрывки телеграфной ленты): с костями, с мясом – сто рубликов. Чичиков дороже давал за душу... (У Сталина усмехнулась тень под усами.) Мы опираемся не только на пролетариат, но и на беднейшее крестьянство... При теперешнем положении вещей оно неминуемо отшатнется от тех, кто будет продолжать войну... Мы, черт их дери, никогда не отказывались от обороны. (Рыжеватыми – веселыми и умными, лукавыми и ясными глазами глядел на собеседника.) Вопрос только в том: как мы должны оборонять наше социалистическое отечество...

Выбрав один из листочков, он начал читать:

– «...Мирные переговоры в Брест-Литовске вполне выяснили в настоящий момент – к двадцатому января восемнадцатого года, – что у германского правительства безусловно взяла верх военная партия, которая, по сути дела, уже поставила России ультиматум... Ультиматум этот таков: либо дальнейшая война, либо аннексионистский мир, то есть мир на условии, что мы отдаем все занятые нами земли, германцы сохраняют все занятые ими земли и налагают на нас контрибуцию (прикрытую внешностью плата за содержание пленных), контрибуцию, размером приблизительно в три миллиарда рублей, с рассрочкой платежа на несколько лет. Перед социалистическим правительством России встает требующий неотложного решения вопрос, принять ли сейчас этот аннексионистский мир или вести тотчас революционную войну? Никакие средние решения, по сути дела, тут невозможны...»

Сталин снова твердо кивнул. Владимир Ильич взял другой листочек:

– «Если мы заключаем сепаратный мир, мы в наибольшей, возможной для данного момента степени освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используя их вражду и войну, – затрудняющую им сделку против нас, – используем, получая известный

¹ В. М. Чернов – лидер эсеров. (Прим. автора.)

период развязанных рук для продолжения и закрепления социалистической революции». – Он бросил листочек, глаза его сощурились лукавой хитростью. – Для спасения революции три миллиарда контрибуции не слишком дорогая цена...

Сталин сказал вполголоса:

– То, что германский пролетариат ответит на демонстрацию в Брест-Литовске немедленным восстанием, – это одно из предположений – столь же вероятное, как любая фантазия... А то, что германский штаб ответит на демонстрацию в Брест-Литовске немедленным наступлением по всему фронту, – это несомненный факт...

– Совершенно верно... И еще, – если мы заключаем мир, мы можем сразу обменяться военнопленными и этим самым мы в Германию перебросим громадную массу людей, видевших нашу революцию на практике...

Иван Гора осторожно кашлянул:

– Владимир Ильич, аппарат работает...

– Великолепно! – Ленин торопливо подошел к телефону, вызвал Свердлова. Иван Гора, уходя за дверь, слышал его веселый голос:

– ...Так, так, – «левые» ломали стулья на съезде... А у меня сведения, что одного из их петухов на Путиловском заводе чуть не побили за «революционную» войну... В том-то и дело: рабочие прекрасно отдают себе отчет... Яков Михайлович, значит, завтра ровно в час собирается ЦК... Да, да... Вопрос о мире...

По коридору к Ивану Горе, звонко в тишине топя каблуками по плитам, шел человек в бекеше и смушковой шапке.

– Я был наверху, товарищ, там сказали – Владимир Ильич сошел вниз, – торопливо говорил он, подняв к Ивану Горе разгоревшееся от мороза крепкое лицо, с коротким носом и карими веселыми глазами. – Мне его срочно, на два слова...

Иван Гора взял у него партийный билет и пропуск:

– Уж не знаю, Владимир Ильич сейчас занят, секретарь спит. Надежда Константиновна еще не вернулась. – Он с трудом разбирал фамилию на партбилете. – Угля у них, у дьяволов, что ли, нет на станции, – ничего не видно...

– Фамилия моя Ворошилов.

– А, – Иван Гора широко улыбнулся. – Слыхали про вас? Земляки... Сейчас скажу...

Глава вторая

1

Поздно утром вдова Карасева затопила печь и сварила в чугушке картошку, – ее было совсем мало. Голодная, сидела у непокрытого стола и плакала одними слезами, без голоса. Было воскресенье – пустой длинный день.

Иван Гора завозился на койке за перегородкой... В накинута бекеше прошел в сени. Скоро вернулся, крякая и поеживаясь; увидев, что Марья положила на стол руки и плачет, – остановился, взял расшатанный стул, сел с края стола и начал перематывать на ногах обмотки.

– Мороз, пожалуй, еще крепче, – сказал густым голосом. – В кадушке вода замерзла – не пробить. Картошки на складах померзло – ужас... Так-то, Марья дорогая...

Вдова глядела мимо Ивана мутными от слез, бледными глазами. Все жалобы давно были сказаны.

– Так-то, Марья, моя дорогая... Революция – дело мужественное. Душой ты верна, но слаба. Послушай меня: уезжай отсюда.

Не раз Иван советовал вдове бросить худой домишко и уехать на родину Ивана – в Донской округ, в станицу Чирскую. Там нетрудно найти работу. Там хлеба довольно и нет такой беспощадной зимы. Вдова боялась: одна бы – не задумалась. С детьми ехать в такую чужую даль – страшно. Сегодня он опять начал уговаривать.

– Иван, – сказала ему вдова с тихим отчаянием. – Ты молодой, эдакий здоровенный, для тебя всякая даль близка. Для меня даль далека. Силы вымотаны.

Вдова с упреком закивала головой будто тем, кто пятнадцать лет выматывал ее силы. Муж ее, путиловский рабочий, два раза до войны подолгу сидел в тюрьме. В пятнадцатом году, как неблагонадежный, был взят с завода на фронт – пошел с палкой вместо винтовки. Так с палкой его и погнали в атаку на смерть.

– Напрасно, – сказал Иван, – напрасно так рассуждаешь, дорогая, что сил нет. Здесь ты лишний рот, а там сознательные люди нужны.

– Что ты, Иван... Мне бы только их прокормить... Кажется, умри они сейчас, – не так бы их жалко было... А как им прожить – маленьким... Да еще пойдут круглыми сиротами куски собирать...

Отвернувшись, вытерла нос – потом глаза. Иван сказал:

– Вот... А там для детей – рай: Донской округ, подумай. Хлеб, сало, молоко. Там, видишь ли, какие дела... – Иван расположил на стол локоть и выставил палец с горбатым ногтем. – Я, мои братья – родились в Чирской, и батька там родился. Но считались мы иногородними, «хохлы», словом – чужаки. Казаки владели землей, казаки выбирали атаманов. Теперь наши «хохлы» и потребовали и земли и прав – вровень с казаками... У станичников к нам не то что вражда – кровавая ненависть. Казак вооружен, на коне, смелый человек. А наши – только винтовки с фронта принесли. Этот Дон – это порох.

Марья усмехнулась припухшими глазами:

– А ты говоришь – рай, зовешь...

– Дон велик. Поедешь в такие места, где большевистская власть прочна. Тебе работу дадут, на Дону будешь нашим человеком для связи. Хлеб-то в Петроград откуда идет? С Дона... Понятно? А уж детей ты там, как поросят, откормишь...

Марья глядела мимо него, повернув худое, еще миловидное лицо к замерзшему окошку, откуда чуть лился зимний свет.

– Пятнадцать лет прожито здесь...

– Эту хибарку, Марья, не то что жалеть – сжечь давно надо. Дворцы будем строить – потерпи немного...

– Верю, Иван... Сил мало... Что же, если велишь – поеду...

– Ну, велю, – Иван засмеялся. – Все-таки ваше сословие женское – чудное...

– По молодости так говоришь... Я вот, видишь ты, сижу и – ничего, встану – поплывет в глазах, голова закружится.

– Ну, я рад, мы тебя отправим...

Поговорив со вдовой, Иван оделся, перепоясался.

– Сегодня идем к буржуям за излишками... И как они, дьяволы, ловко прячут! Прошлый раз: вот так вот – коридор, – мы уж уходим, ничего не нашли, – товарищ меня нечаянно и толкни, я локтем в стенку: глядь – перегородка в конце коридора и обои, только что наклеенные. Перегородку в два счета разнесли, – там полсотни пудов сахара.

Он отворил дверь в сени. Марья – ему вслед, негромко:

– Хлеб весь, чай, съел?

– Да видишь, какое дело, – отдать пришлось, понимаешь, один был голодный...

Иван махнул рукой, вышел...

2

Все скупее, тягучее текли жизненные соки из черноземного чрева страны на север – в Петроград и Москву. Выборные продовольственной управы, ведавшие сбором и распределением хлеба, плохо справлялись, а иные нарочно тормозили это дело: в управы прошли члены враждебных политических партий – меньшевики и эсеры, чтобы голодом бороться с большевиками за власть. Голод все отчетливее появлялся в сознании, как самое верное, насмерть бьющее, оружие.

Большевиков было немного – горсть в триста тысяч. Их цели лежали далеко впереди. На сегодняшний день они обещали мир и землю и суровую борьбу за будущее. В будущем разворачивали перспективу почти фантастического изобилия, почти не охватываемой воображением свободы, и то привлекало и опьяняло тех из полутораста миллионов, для кого всякое иное устройство мира обозначало бы вечное рабство и безнадёжный труд.

Но этому будущему пока что грозили голод, холод и двадцать девять германских дивизий, в ожидании мира или войны стоящих на границе от Черного моря до Балтийского.

Для немцев выгоден был скорейший мир с советской Россией. Германское командование наперекор всем зловещим данным надеялось в весеннее наступление разорвать англо-французский фронт. Людендорф готовил последние резервы, но их можно было достать, только заключив сепаратный мир с советской Россией.

Немецкие представители в Брест-Литовске, где происходили переговоры о мире, готовы были ограничиться даже довольно скромным грабежом. Им нужен был хлеб и мир с Россией для войны на Западе. В Австро-Венгрии голод уже подступал к столице, и министр продовольствия приказал ограбить немецкие баржи с кукурузой, плывущие по Дунаю в Германию. Австрийский министр граф Чернин истерически торопил переговоры, чтобы получить, хлеб и сало из Украины.

Это понимал и на это рассчитывал Ленин, борясь за мир, за необходимую, как воздух, как хлеб, передышку от войны – хотя бы на несколько месяцев, когда смог бы укрепить новорожденный младенец – молодая советская власть.

На совещании Центрального комитета совместно с членами большевистской фракции Всероссийского съезда советов точка зрения Ленина получила пятнадцать голосов: победа осталась за «левыми коммунистами», шумно требовавшими немедленной войны с немцами.

Через три дня собрался Центральный комитет. На нем Ленин прочел свои тезисы мира. «Левые» на этом заседании были в меньшинстве. Против Ленина выступили троцкисты со своей предательской позицией – ни мира, ни войны. Ленин не собрал большинства.

Тогда он сделал стратегический ход: он отступил на шаг, чтобы укрепить позиции и с них продолжать борьбу за мир: он предложил затягивать мирные переговоры в Брест-Литовске до того часа, покуда у немцев не хватит больше терпения и они не предъявят, наконец, ультиматума. Делать все, чтобы немцы возможно дольше не предъявляли ультиматума, и когда, наконец, предъявят, то уже безоговорочно подписывать с ними мир.

Предложение Ленина прошло большинством голосов. С этим обязательным для него постановлением Троцкий в ту же ночь выехал с делегацией в Брест-Литовск.

Несмотря на решение Центрального комитета, «левые коммунисты» на рабочих митингах кричали о «национальной ограниченности» Ленина, о безусловной невозможности построить социализм в одной стране, да еще в такой отсталой, мужицко-мещанской... Они бешено требовали немедленной революционной войны, втайне понимая, что сейчас она невозможна, что она превратится в разгром. Но им нужно было взорвать советскую Россию, чтобы от этой чудовищной детонации взорвался мир. А впрочем, и мир для них был тем же полем для личных авантур и игры честолюбий. Провокация и предательство были их методом борьбы.

В начале февраля в Брест-Литовске, в зале заседаний мирных переговоров, появились два молодых человека в синих свитках и смушковых шапках – Любинский и Севрюк. Они предъявили немцам свои мандаты полномочных представителей Центральной рады и предложили немедленно заключить мир. Хотя вся территория самостийного украинского правительства ограничивалась теперь одним городом Житомиром, немцев это не смутило: территорию всегда можно было расширить. И немцы тайно от советской делегации подписали с Центральной радой мирный договор на вечные времена, обещав незамедлительно навести на Украине «порядок». В тот же день император Вильгельм приказал нажать круче на советскую делегацию и предъявить ультиматум.

Сереньким утром десятого февраля, когда капало с крыш одноэтажных казенных домиков и воробьи заводили на голых деревьях Брест-литовской крепости донжуанское щебетанье, советская делегация, направляясь через снежный двор в офицерское собрание заседать, узнала про ловкий ход немцев. Троцкий пошел на телеграф. По прямому проводу он сообщил Ленину об угрожающей обстановке, он спросил: «Как быть?»

В ответ на ленточке, бегущей из аппарата, отпечаталось:

«Наша точка зрения вам известна. Ленин. Сталин».

Делегаты, стоя тесной кучкой на снежном дворе, нервно курили. Талый ветер относил дым. Глядели, как Троцкий появился на крыльце почты, остановился, застегивая на горле пальто, пошел по желтой от песка дорожке. Делегаты наперебой стали спрашивать, что ответил Владимир Ильич.

Широколобое, темное лицо Троцкого, окаменев, выдержало минутную паузу, затем – прямой, как разрез, рот его разжался:

– Центральный комитет стоит на моей точке зрения. Идемте...

Сорок делегатов – Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции – собрались за зеленым столом.

Сидящий справа от статс-секретаря фон Кюльмана представитель высшего германского командования генерал Гофман (у которого наготове стояли двадцать девять дивизий) – крупный, розовый, бритый – безглаголиво опускал губы. У сидящего слева от статс-секретаря австрий-

ского министра графа Чернина дергалось тиком худое, измятое бессонницей, лицо. Жирный, черный болгарин Попов, министр юстиции, сопел, как бы с трудом переваривая речи.

Было ясно, что в эти минуты решается судьба России. Председатель советской делегации, с волчьим лбом, татарскими усиками, черной – узким клинышком – бородкой, стоял в щегольской визитке, боком к столу, подняв плечи супрематическим жестом, – похожий на актера, загримированного под дьявола.

Упираясь надменным взглядом через стекла пенсне в германского статс-секретаря фон Кюльмана, – у которого в кармане пиджака лежала телеграмма Вильгельма об ультиматуме, – Троцкий сказал:

– Мы выходим из войны, но мы отказываемся от подписания мирного договора...

Ни мира, ни войны! Как раз то, что было нужно немцам, – эта неожиданная шулерская формула развязывала им руки. Генерал Гофман густо побагровел, откидываясь на стуле. Граф Чернин вскинул худые руки. Фон Кюльман высокомерно усмехнулся. Ни мира, ни войны! Значит – война!

Так Троцкий нарушил директиву Ленина и Сталина, совершил величайшее предательство: советская Россия, не готовая к сопротивлению, вместо мира и передышки получила немедленную войну. Россия была отдана на растерзание. Одиннадцатого советская делегация уехала в Петроград. Шестнадцатого февраля генерал Гофман объявил Совету народных комиссаров, что с двенадцати часов дня восемнадцатого февраля Германия возобновляет войну с советской Россией...

3

Всю ночь мокрый снег лепил в большие окна. За приоткрытой дверью постукивал телеграфный аппарат. Ленин, поднимая голову от бумаг, спрашивал: «Ну?» За дверью отвечали негромко: «Есть». Он озабоченно шел к аппарату. Телеграфист, жмуря глаз от едкой махорки, подавал ленту. На нескончаемой узкой бумажке бежали из аппарата сведения ставки, – тревога, тревога, тревога... В германских окопах началось оживление. Повсюду задымили кухни. По ходам сообщения двигаются крупные воинские части, одетые по-походному. Появились аэропланы. Германская артиллерия приближается на расстояние прямой наводки. Прожектора ощупывают наши позиции.

Владимир Ильич читал, читал, и нос его собирался ироническими морщинками. Не оставалось никакой надежды: завтра, восемнадцатого февраля, немцы начнут наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря...

Вчера вечером в кабинете Ленина снова собрался Центральный комитет. С холодной логикой Ленин доказывал, что нельзя ожидать, пока немецкая армия придет в движение, а необходимо это движение предупредить – немедленно телеграфировать в Берлин о возобновлении мирных переговоров.

Троцкий, прибывший из Брест-Литовска, запальчиво ответил, что немцы, конечно, наступать не будут и во всяком случае нужно не проявлять истерики, а выжидать с предложениями, пока с достаточной убедительностью не проявятся все признаки агрессивности... Его шумно поддержали «левые коммунисты», – предложение Ленина не прошло.

Владимир Ильич вернулся к письменному столу. Бессонными ночами, под мрачную музыку ночного ветра, между телефонными звонками, разговорами по прямому проводу, чтением бумаг, писем, стенограмм – он обдумывал статью, где хотел сосредоточить революционное возбуждение товарищей на действительно грандиозных по замыслу, но реальных, неимоверно трудных, но достижимых задачах построения социалистического отечества.

Победу и успех революции он возлагал на творческие силы народных масс и проводил линию оптимизма через все беды, страдания и испытания. Он указывал на то, что революция

уже вызвала к жизни сильный, волевой, творческий тип российского человека. Он со страстью, с провидением утверждал, что история России – история великого народа и будущее ее велико и необъятно, если это понять и захотеть, чтобы так было. «Понять, захотеть и – будет», – социализм был для него так же реален и близок, как свет рабочей лампы, падающий на лист бумаги, по которому торопливо, с брызгами чернил, бежало его перо...

Поздно ночью он заснул за столом, положив лоб на ладонь и локтем упираясь в исписанные страницы. В начале восьмого ему принесли снизу грязный от копоти чайник с морковным чаем. Владимир Ильич отхлебнул кипятку, пахнущего тряпкой. «Ну – что? – спросил глуховато веселым голосом. – Какие еще новости с фронта?»

– Скверные, – ответили из соседней комнаты, где тикал телеграфный аппарат.

В девятом часу в кабинете Ленина снова собрался Центральный комитет.

Десять человек, не снимая шапок и верхней одежды, сели перед столом. Ленин, перебирая в плохо сгибающихся озябших пальцах путающуюся бумажную ленту, начал прямо с сообщения ставки за эту ночь:

– Немцы проявляют все признаки наступления... (Голос его был глухой и злой. Был виден только его залысый лоб и путающаяся в пальцах бумажная лента.) Осталось три часа... Три часа, в которые мы еще можем спасти все... Нельзя терять ни минуты... Мы можем предотвратить катастрофу... Мы еще можем предложить мир.

Он говорил сжато, как бы вколачивая мысли. Кончив, бросил бумажную ленту, и она запуталась вокруг чернильницы. Сталин, стоявший у стола, заложив руки за спину, проговорил сейчас же:

– Вопрос, товарищи, стоит так: либо поражение нашей революции и связывание революции в Европе, либо же мы получаем передышку и укрепляемся... Этим не задерживается революция на Западе... Либо передышка, либо гибель революции... Другого выхода нет...

Вождь «левых коммунистов» – тот, кого едва не побили на Путиловском заводе, – в расстегнутой шубейке, в финской шапке с отвисшими ушами, сидя на подоконнике, крикнул насмешливо – напористо:

– Да немцы же не будут наступать, – это всякому ясно... Немецкие приготовления – демонстрация и только... На кой же черт им наступать, когда мы демобилизуем фронт...

Сталин, вынув изо рта трубку, медленно повернул к нему голову и – холодно:

– Военный механизм сделан для войны, а не для демонстрации. Немцы подготовили наступление и будут наступать, потому что мы им не предложили мира. Если не предлагают мира, то всякий здравомыслящий человек понимает, что предлагают войну. Через три часа немцы начнут войну... А это будет означать то, что через пять минут ураганного огня у нас не останется ни одного солдата на фронте...

За два часа до немецкого наступления Центральный комитет проголосовал предложение Ленина, и снова одним голосом оно было отклонено...

4

Ровно в двенадцать часов германо-австрийский фронт от Ревеля до устья Дуная окутался ржавым дымом тяжелых гаубиц, задрожала от грохота земля, поднялись лохматые столбы разрывов, застучали в гнездах пулеметы, понеслись над фронтом монопланы с черным крестом на крыльях, выше поднялись привязанные аэростаты в виде колбас, отсвечивающих на солнце. Германские стальноголовые цепи вышли из окопов на приступ русских мощных железобетонных укреплений.

Занимавшие их остатки бывшей царской армии, не способные ни к какому сопротивлению, в тот же час начали «голосовать за мир ногами», – побросав орудия, пулеметы, кухни, военные запасы, хлынули назад, к железнодорожным линиям и вокзалам.

То, что предвидел Ленин, – случилось: советская Россия стояла перед готовым к прыжку противником, безоружная и обнаженная. Солдаты влезали в поезда, на крыши вагонов, цепляясь за буфера и ступеньки, грозили смертью машинистам... Разбивали вагоны с грузом, – на грязном талом снегу вырастали кучи пиленого сахара, консервов, мерлушковых шапок, защитной одежды. Миллионная армия, не желающая стрелять, убивать, драться, отхлынула, как волна от скалистых утесов, потеряв всю ярость, – в пене и водоворотах побежала назад, в родной океан.

Немцы ждали этого. У них все было обдумано и приготовлено для глубокого наступления. Они быстро расчистили забитые железнодорожные узлы и двинулись по магистрали: Брест-Литовск – Брянск, Ровно – Киев – на Подолию, Одесщину и Екатеринославщину...

Предательство Троцкого в Брест-Литовске обошлось дороже, чем могло бы себе представить самое необузданное воображение. Немцы захватили шестьсот восемьдесят девять тысяч квадратных километров территории советской России, тридцать восемь миллионов жителей и одних только военных запасов – пушек, ружей, огнеприпасов, одежды и довольствия – на два миллиарда рублей золотом.

Вечером того же дня – третий раз за эти сутки – собрался Центральный комитет.

Владимир Ильич начал говорить, сидя за столом, медленно царапая ногтями лоб: «Теперь не время посылать немцам бумажки... Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен...» Вскочил – руки глубоко в карманах. Протиснулся между товарищами на середину кабинета и забегал на двух квадратных аршинах. Лицо обтянулось, губы запеклись.

– Крах революции неизбежен, если будет и дальше проводиться средняя политика – ни да ни нет, ни мира ни войны... Политика самая робкая, самая безнадёжная, самая неправильная из всего возможного... Немцы наступают, противодействовать мы не можем. Выжидать, тянуть с подписанием мира – значит сдавать русскую революцию на слом. Мужик сейчас не пойдет на революционную войну, он сбросит всякого, кто толкнет его на такую войну... Мы должны подписать мир, хотя бы сегодня немцы предъявили нам еще более тяжелые условия, если бы они потребовали от нас невмешательства в дела Украины, Финляндии и Эстляндии... то и на это надо пойти во имя спасения революции...

Вслед за этими словами начался водоворот в накуренной комнате – слов, восклицаний, бешеных жестов. Сталин и Свердлов придвинулись к Ленину. И – сразу тишина. Действительно, нельзя было терять ни минуты. Началось голосование, и на этот раз Ленин проломил брешь: большинством одного голоса Центральный комитет постановил послать германскому правительству радиотелеграмму о согласии подписать мир.

Телеграмма была послана в ту же ночь. Немцы продолжали решительно наступать по железнодорожным магистралям. Впереди с еще большей быстротой откатывалась старая царская армия, рассеивалась по деревням.

Немецкие солдаты, открывая вагонные окна, весело поглядывали на разбросанные по косогорам – среди оголенных садов – белые хаты под соломенными шапками, на приземистые амбары, на грачей, встревоженно взлетающих над прошлогодними гнездами. Здесь было вдоволь хлеба, и сала, и картошки, и сахара, здесь, по рассказам, текли молочные реки в берегах из пумперникаля...² Немцы проникались беспечностью...

Через несколько дней эшелоны оккупантов были атакованы красными. Но советские отряды, именовавшиеся украинскими армиями, насчитывали всего около пятнадцати тысяч бойцов. Они были отброшены давлением в десять раз превосходившего их противника.

² Немецкий сладкий хлеб вроде коврижки (Прим. автора.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.